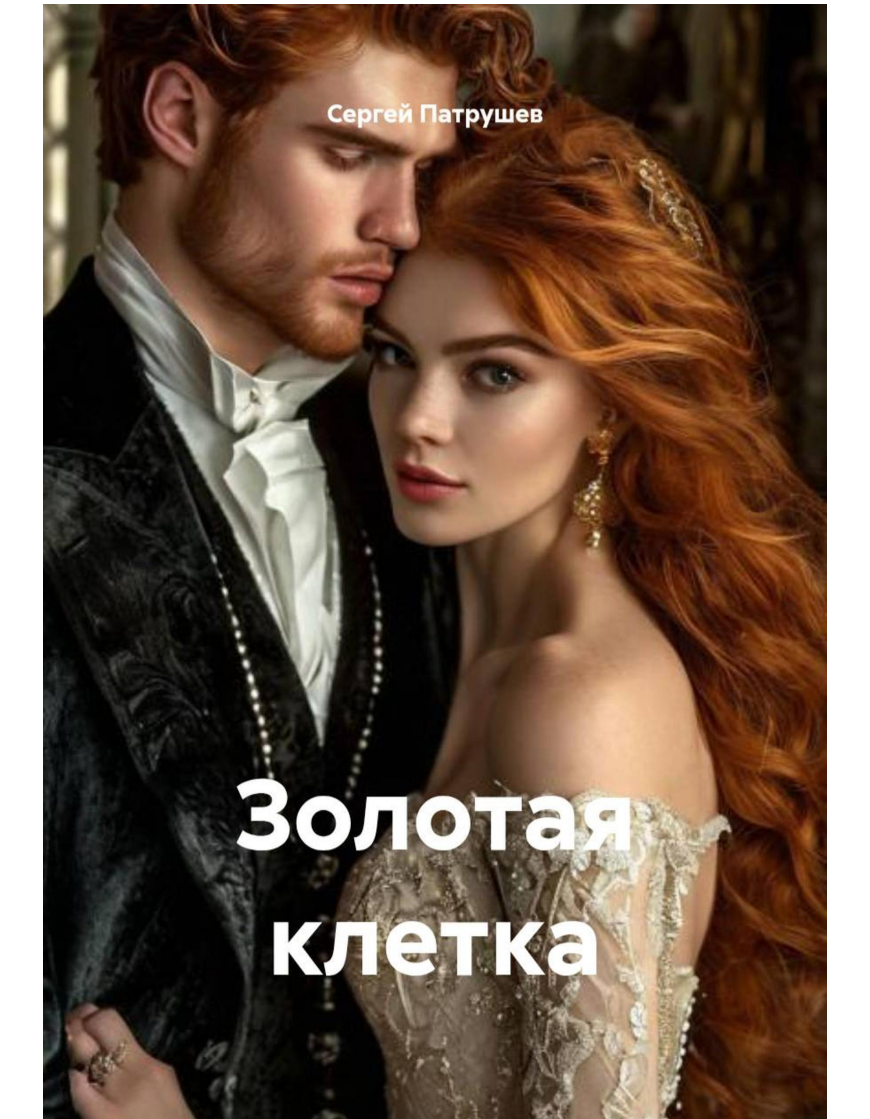


A romantic portrait of a man and a woman in historical attire. The man, on the left, has reddish-brown hair and a beard, wearing a dark, patterned jacket over a white shirt with a ruffled collar and a long pearl necklace. He is looking down at the woman. The woman, on the right, has long, wavy red hair and is wearing an off-the-shoulder lace dress and large, ornate earrings. She is looking directly at the camera with a soft expression. The background is dark and out of focus, suggesting an indoor setting with architectural details.

Сергей Патрушев

Золотая клетка

Сергей Патрушев

Золотая клетка

<https://litres.ru/73786412>

SelfPub; 2026

Аннотация

Анастасия Воронова. Рыжеволосая красавица, проданная в восемнадцать лет за долги семьи сорокалетнему купцу. Брак по расчету, особняк на Английской набережной, бриллианты и шелк и полное одиночество в золотой клетке. Казалось, ее жизнь кончена, а впереди только холод и пустота.

Пройдя через ненависть, зависимость, отчаяние и зависть тысяч женщин, Анастасия обнаруживает в себе невероятный дар. Дар, который меняет не только цвет ее волос и глаз, но и саму реальность вокруг. Ее поцелуй возвращает мужу молодость, ее советы спасают распадающиеся браки, ее предсказания сбываются с пугающей точностью. А те, кто годами желал ей зла, начинают получать свое собственное отражение в кривом зеркале кармы. От светских салонов Петербурга до модных домов Парижа, от нищеты до богатства, превосходящего состояние мужа, история женщины, которая превратила свое проклятие в благословение.

Содержание

Глава первая	4
Г	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Золотая клетка

Глава первая

Утро моего восемнадцатилетия пахло не свежей выпечкой и сиренью, как я мечтала в детстве, лежа бессонными летними ночами и глядя в потолок с облупившейся побелкой, а сыростью осеннего дождя и нафталином, которым был насквозь пропитан мой подвенечный наряд. Этот запах — резкий, химический, въедливый — казался мне предвестием всего, что ждало впереди: неестественного, мертвенного, не имеющего ничего общего с живой жизнью. Платье висело на спинке стула, тяжелое, расшитое речным жемчугом, который при тусклом свете октябрьского неба, сочившемся сквозь запотевшее окно, казался не белым, а серым, словно его выловили не со дна морского, из перламутровых раковин, а из лужи под окном, затянутой первой ледяной корочкой. Каждая жемчужина была холодна на ощупь, как застывшая слеза, и, когда я проводила по ним пальцами, меня пробирала дрожь — не от холода, а от ощущения неотвратимости, от того животного страха, который селится где-то в солнечном сплетении и не отпускает ни на минуту. Я сидела перед зеркалом в одной сорочке, тонкой, батистовой, с кружевом, которое мать достала из бабушкиного сундука, — последний привет из времен, когда наша семья еще не знала

слова «нужда», — и смотрела на свои огненно-рыжие волосы, рассыпанные по плечам тяжелыми, непокорными волнами. Они жили собственной жизнью: вились, извивались, ловили скупой утренний свет и отбрасывали его на стены медными бликами, дрожащими и трепетными, словно крылья пойманной бабочки.

Люди часто говорили, что этот цвет — благословение, дар небес, отметина самой природы, что он делает меня похожей на осеннюю богиню, сошедшую с полотен старых мастеров, или на лисицу, замершую перед прыжком в заснеженном поле. Мужчины оборачивались мне вслед, женщины поджимали губы с плохо скрытой завистью, а дети показывали пальцами и шептались: «Смотри, ведьма!» — вкладывая в это слово и страх, и восхищение, и древнюю память о чем-то потустороннем. Сегодня же мне казалось, что это клеймо. Не благословение, а проклятие, которое я несу на себе, как каторжник несет кандалы. Слишком яркое пятно на фоне предстоящей серой жизни. Слишком заметное, слишком кричащее, слишком живое для того существования, которое уготовил мне мой будущий муж — человек, чье имя я уже носила в мыслях, как носят тяжелый камень за пазухой, согревая его собственным теплом и ненавидя за эту вынужденную близость.

Я не любила его. В этом не было ни капли сомнения, ни тени девичьей загадки, ни того сладкого самообмана, в который так любят погружаться юные барышни, читающие

французские романы при свече и воображающие, будто холодность мужчины — это лишь маска, за которой пылает страсть. Нет, маски не было. Антон Павлович Воронов был именно тем, кем казался: человеком, высеченным из камня, лишенным иллюзий, сентиментов и того душевного трепета, который делает нас людьми, а не ходячими функциями. Он был старше меня ровно на двадцать два года — целая жизнь, целая пропасть, наполненная событиями, о которых я не имела ни малейшего представления. Он был сух, высок, широк в плечах, но худ, как человек, который привык обходиться малым в еде, но не в амбициях, и пах хорошим табаком и дорогим одеколоном. Этот одеколон должен был, по замыслу где-то далеко, в Париже или Лондоне, трудившихся над ним парфюмеров, придавать мужественности, пробуждать в женщинах трепет и желание прижаться ближе, вдохнуть глубже, но мне он лишь напоминал о спертom воздухе кабинета моего покойного отца — такого же сухого, такого же властного, такого же недосыгаемого в своей родительской отстраненности. Только отец хотя бы иногда улыбался мне, гладил по голове тяжелой ладонью и называл «моя рыжая бестия», а Воронов не позволял себе даже такой малости. Он был чужим от начала и до конца, от подошв лакированных штиблет до серебрящихся висков.

Он не был уродлив, вовсе нет. Внешность его была из тех, что называют «породистой»: высокий лоб мыслителя или дельца, прямой нос с тонкой переносицей, твердый подбор-

родок, говоривший о несгибаемой воле. В его сорок лет он сохранил военную выправку — служил ли он когда-то или просто унаследовал ее вместе с кровью предков, я не знала, да и не интересовалась, — седина только начинала се-ребрить виски, придавая ему солидный, даже благородный вид, тот особенный оттенок зрелости, который так ценят молодые женщины, ищущие в муже замену отцу. Но глаза... В его глазах цвета мутного янтаря, напоминавшего застывшую смолу, в которой навеки застряли доисторические насекомые, не было ни страсти, ни тепла, ни того блеска, который выдает живой интерес к собеседнику. Там был только холодный, трезвый расчет, оценка, взвешивание, анализ. Сейчас этот расчет был направлен на меня — на мои волосы, на мою талию, на мои веснушки, которые он рассматривал, как ювелир рассматривает алмаз, выискивая изъяны, — и от этого по коже бежали мурашки, хотя в комнате было жарко натоплено, а в углу потрескивала дровами изразцовая печь, расписанная синими васильками.

За стеной суетилась мать. Её голос, обычно тихий и забитый, приглушенный годами лишений и унижений, сегодня звучал почти истерично-радостно — тот особый, надрывный звук, который издает струна, натянутая до предела и готовая вот-вот лопнуть. Она отдавала последние распоряжения кухарке, путаясь в словах и жестах, роняя какие-то мелочи — ложку, салфетку, — и поминутно заглядывала в мою комнату, приоткрывая дверь на ширину ладони и заглядывая в

щель, чтобы удостовериться, что я не сбежала через окно. Глупости. Бежать мне было некуда, и она знала это лучше меня. Наш старый дом, доставшийся от деда, а ему — от его деда, дом, в котором я знала каждую половицу, каждый выцветший узор на обоях, каждую трещину на потолке, уже два года как принадлежал не нам, а банку. А точнее, самому Воронову — он был не просто кредитором, он был пауком, который терпеливо, долго, методично плел свою паутину вокруг нашей семьи, скупая векселя, долговые расписки, закладные, пока не стал единственным, кому мы были должны всё, включая воздух, которым дышали. Теперь он великодушно, с щедростью, о которой будут судачить в гостиных, выкупил наши долги, чтобы через месяц стать полноправным хозяином и этих стен, и моей жизни. Он поступил как купец на ярмарке: увидел красивую, пусть и нищую, вещь, оценил её породу, цвет волос, тонкую талию, фарфоровую белизну кожи, блеск глаз — и купил, не торгуясь, понимая, что товар редкий и в другом месте может уйти за ту же цену или даже дороже.

Я была не женой, я была инвестицией. Вкладом в будущее, который должен был окупиться звонкой монетой — наследником, продолжателем рода, новым Вороновым с моими рыжими волосами и его фамилией, вырезанной на фамильном гербе. Ему нужна была молодая кровь, свежая, горячая, бурлящая, чтобы разбавить его собственную, застоявшуюся, холодную, медленно текущую по жилам, как зимняя Нева

подо льдом. Ему нужно было живое украшение для его нового особняка на Английской набережной — дома, который он выстроил с той же тщательностью, с какой подбирал себе галстуки и породистых лошадей, дома, где каждая ваза, каждая картина, каждая статуэтка стояли на своих местах, подчиняясь строгому порядку, и теперь этому порядку должна была подчиниться я. И, конечно, ему нужен был повод утереть нос конкурентам — этим разряженным павлинам из купеческого собрания, чьи жены уже давно растеряли юный румянец за карточными столами, родами и сплетнями, превратившись в отеких, вечно недовольных матрон с двойными подбородками и жеманными улыбками. Я должна была стать его триумфом, его живым доказательством того, что он, Антон Павлович Воронов, может получить всё, что пожелает, — даже юную красавицу из обедневшего дворянского рода, даже девушку, которая еще вчера смеялась в лицо молодым офицерам и не думала ни о каком замужестве.

Помню день, когда он сделал предложение. Вернее, не предложение — такие вещи не называют предложениями, это слово подразумевает хоть какую-то возможность отказа, — он выдвинул условия. Это было не на коленях и не с цветами, не под пение соловьев в вечернем саду, не с тем замиранием сердца, о котором пишут в книгах. Это было буднично, прозаично, почти скучно, и, может быть, именно эта будничность ранила больше всего. Он просто пришел к нам в гостиную, когда за окнами моросил такой же серый дождь,

как сегодня, вошел, не спрашивая разрешения, как входят в собственный дом, — а он ведь и был уже почти собственным, — сел в кресло моего отца, которое с его смерти пустовало, словно трон, дожидаящийся нового монарха. Это кресло с высокой резной спинкой и потертыми бархатными подлокотниками стояло в углу, как немой укор, как памятник ушедшей жизни, и никто не смел в него садиться — ни я, ни мать, ни редкие гости. А он сел. Сел по-хозяйски, закинул ногу на ногу, поправил манжету и, глядя не на меня, а куда-то поверх моей головы на пыльный пейзаж, изображавший нимф в лесу, сказал ровным, хорошо поставленным голосом, в котором каждое слово было отмерено, как доза лекарства:

— Анастасия, вы умны для своих лет и, безусловно, красивы. — Он произнес это так, словно отмечал достоинства породистой лошади в каталоге: рост, масть, резвость. — Ваше положение оставляет желать лучшего. Я предлагаю вам сделку. Вы станете госпожой Вороновой, у вас будут лучшие портные, выезд, собственные покои и содержание, о котором ваша матушка и мечтать не смела. Взамен я жду от вас наследника, соблюдения приличий в обществе и спокойствия в доме. Любовь — удел поэтов и прачек, нам с вами она ни к чему. Достаточно уважения и выполнения долга.

Он говорил сухо, чеканя каждое слово, как монету на монетном дворе — звонко, четко, безапелляционно. И каждое это слово падало в тишину гостиной, как камень падает в

глубокий колодец: был звук, а потом — ничего, только кру- ги на воде и ощущение бездны под ногами. Мать, сидевшая в углу с шитьем — вечным своим шитьем, которое она не выпускала из рук, потому что это была единственная работа, которую она умела делать хорошо, — замерла, вонзив иголку в палец до крови, и даже не заметила, как алая капля упала на белую ткань, расплываясь пятном, похожим на маленькую розу. В её глазах читался ужас пополам с надеждой — тот страшный коктейль чувств, который отравляет душу сильнее любого яда. Она боялась, что я, глупая и гордая, откажусь — я всегда была гордой, с детства, еще когда мы были богаты и отец смеялся, называя меня «маленькой царицей», — и нас выставят на улицу с нашими фамильными сервизами, пустыми шкатулками из-под драгоценностей и воспоминаниями, которые нельзя ни продать, ни заложить, ни обменять на кусок хлеба. В её глазах я видела мольбу, обращенную ко мне: «Согласись, согласись, пожалуйста, согласись — ради меня, ради памяти отца, ради этих стен, которые пока еще наши». Но я не отказалась. Не потому, что была сломлена или покорена, а потому, что где-то глубоко внутри, в том месте, где живет холодный, практичный рассудок, я понимала: иного выхода нет. Или эта сделка, или медленное умирание, уни- зительное, постепенное, ступенька за ступенькой вниз — в гувернантки, в компаньонки к какой-нибудь старой больной даме, в чью-то постель за деньги, стыдливо прикрытые цве- точными обоями и кружевными занавесками. Я посмотре-

ла в его холодные янтарные глаза — прямо, твердо, не отводя взгляда, как учил меня когда-то отец, когда говорил: «Если тебе страшно, никогда не показывай этого, смотри в глаза противнику, и он отступит», — и спросила лишь одно, единственное, что действительно имело для меня значение во всей этой истории:

— Я смогу навещать мать?

— Разумеется, — он чуть улыбнулся, и улыбка эта скользнула по его губам, как змея по нагретому солнцем камню: быстро, холодно, не оставляя следа. — Я не тюремщик. По крайней мере, до тех пор, пока вы сами не вынудите меня им стать. Но вы будете носить мою фамилию, а это накладывает определенные обязательства. Вы будете соблюдать мой распорядок, мои правила, мои границы. Вы будете моей женой перед Богом, законом и обществом. И я надеюсь, Анастасия, что вы оправдаете мои ожидания.

Вот так, за пять минут, в гостиной с пыльными шторами, сквозь которые пробивался серый свет угасающего дня, решилась моя судьба. Рыжая красotka, на которую засматривались молодые офицеры в городском саду, которая смеялась, запрокидывая голову, и ловила губами черешню, бросаемую кем-то из подруг, становилась собственностью сорокалетнего вдовца. Собственностью — вот точное слово. Я не была избранницей, не была возлюбленной, не была даже партнером в этом странном танце, называемом браком. Я была вещью, перешедшей из одних рук в другие, и цена этой ве-

щи была определена с бухгалтерской точностью, записана в grossбухе его сознания где-то между строкой о покупке новой партии зерна и расходами на содержание выезда.

Теперь, глядя в зеркало, в это старое, слегка мутное стекло в потемневшей раме, помнившее еще бабушкино лицо, я пыталась найти в своем отражении ту самую Настю — Настю, которая еще прошлым летом бегала босиком по росистой траве в имении у тетки, смеялась, запрокидывая голову к солнцу, и ловила ртом черешню, которую кидал ей с ветки соседский мальчишка, сын управляющего, такой же рыжий и такой же беззаботный. От той девушки остались только эти волосы, непокорные, выющиеся в тугие кольца, несмотря на все усилия горничной пригладить их раскаленными щипцами, от которых пахло горелым и волосами, и страхом обжечься. Сегодня они были уложены в высокую прическу — сложное сооружение из кос, шпилек и локонов, — открывая длинную, беззащитную шею. Я смотрела на эту шею, на голубую жилку, бьющуюся под тонкой кожей, и думала о том, что хищники всегда целят именно туда — в горло, в самое уязвимое место. Кожа у меня была белая, фарфоровая, как молоко, чуть тронутая веснушками на переносице и скулах — еще одно доказательство моей «рыжей» породы, моей принадлежности к тому типу женщин, которых в старину сжигали на кострах, а теперь просто покупают. Я тщетно пыталась вывести эти веснушки соком петрушки, огуречной маской, какими-то снадобьями, которые приносила знакомая знахар-

ка, — ничего не помогало, они возвращались каждую весну, как возвращаются перелетные птицы, подчиняясь не моим желаниям, а зову природы. Воронов, когда впервые увидел меня без шляпки, в саду, где я читала книгу, не подозревая о его присутствии, задержал взгляд на этих веснушках и странно дернул уголком рта — то ли умилился, то ли приценивался к изъяну, решая, снижает ли этот маленький недостаток общую стоимость товара.

— Настенька, пора, — голос матери прозвучал у самого уха, заставив меня вздрогнуть всем телом, словно от выстрела.

Она вошла неслышно, как тень, ступая по скрипучим половицам с ловкостью человека, привыкшего прятаться и не привлекать к себе внимания. В руках она держала фату — тонкую, почти прозрачную ткань, старинную, бабушкину, ту самую, в которой венчалась еще прабабка, и бабушка, и сама мать, когда была молодой, счастливой и не знавшей, что судьба готовит ей годы вдовства, бедности и унижений. Фата пахла лавандой и временем — тем особенным запахом, который бывает у старых вещей, хранимых в сундуках с любовью и печалью. Мать накинула её мне на голову, расправила складки, коснулась дрожащими пальцами моих волос, и в этот момент я перестала видеть мир четко. Он подернулся дымкой, словно я уже стала призраком своей прежней жизни, словно между мной и реальностью опустили полупрозрачный занавес, сквозь который проступают только смут-

ные очертания людей, предметов, событий.

— Ты такая красивая, — прошептала мать, и в её голосе послышались слезы — те самые слезы, которые копят годами, которые не выплакать за одну ночь, которые становятся частью дыхания, частью взгляда. Я знала, она плачет не от счастья за меня, не от гордости, не от умиления перед красотой дочери, вступающей в новую жизнь. Она плачет от облегчения за себя. От того постыдного, тщательно скрываемого, но такого человеческого облегчения, когда с плеч падает гора. Она больше не будет дрожать над каждой потраченной копеей. Она больше не будет просыпаться по ночам в холодном поту, прикидывая, как заплатить за дрова, за муку, за сахар, за этот вечный, бесконечный список нужд, который растёт быстрее, чем возможности его оплатить. Она больше не будет прятать глаза перед лавочниками и вымаливать отсрочку у кредиторов. Ия не могла её винить. Винить мать за желание выжить — это как винить утопающего за то, что он хватается за соломинку, даже если эта соломинка — твоя собственная жизнь. Она была слабой женщиной, раздавленной нищетой, потерявшей мужа, состояние, положение, и единственное, что у нее осталось, — это я, её рыжая дочь, которую она теперь продавала, как продают последнюю фамильную драгоценность, зная, что это предательство, но не видя иного выхода. Но от этого мое одиночество становилось только острее, только горше, только невыносимее. Меня продавали с аукциона, а самый близкий человек, един-

ственный человек, который должен был бы защищать меня до последнего вздоха, был рад покупателю, потирал руки в мыслях и уже считал деньги, которые ей перестанут сниться в кошмарах.

Карета, поданная к крыльцу, была обита черным шелком — выбор Воронова, который он не стал объяснять, а я не стала спрашивать. Черный шелк внутри свадебного экипажа — это показалось мне дурным предзнаменованием, мрачным символом, траурной рамкой для картины, на которой изображена невеста. Я села в эту карету, чувствуя, как мягкое сиденье прогибается подо мной, как пахнет кожей и табаком — его запахом, — и мне показалось, что я сажусь в катафалк. Венчание назначили в маленькой церкви на окраине, почти за городской чертой, там, где улицы теряли брусчатку и превращались в размытые дождем проселки. Воронов не хотел пышной церемонии, не хотел толпы гостей, не хотел огласки — то ли стыдился неравного брака, то ли просто не видел смысла тратить время и деньги на то, что считал пустой формальностью. «Скромно и достойно», — так он выразился, когда я робко, сама не зная зачем, спросила, можно ли пригласить моих подруг и тетушку. Мне было все равно. Пышное платье, толпа гостей, цветы, музыка, шампанское рекой — что это меняет, если внутри тебя звенящая пустота, если сердце молчит, как колокол, с которого сняли язык? Праздник на костях — вот чем была бы эта свадьба, и, может быть, хорошо, что Воронов избавил меня от необ-

ходимости улыбаться гостям и делать вид, что я счастлива.

Дождь все моросил, барабания по крыше экипажа — мерный, монотонный звук, похожий на тиканье часов, отсчитывающих последние минуты моей свободы. Город за мутным стеклом выглядел размытым, словно его рисовали акварелью на промокашке — серое небо, серые дома, серые лица прохожих, спешащих по своим делам и кутающихся в шинели и зонты. Никто из них не знал, что мимо проезжает девушка, которая прощается с волей. Никто не смотрел на нашу карету, не пытался заглянуть внутрь, не гадал, кто там сидит — счастливая невеста или обреченная жертва. Мир продолжал жить своей жизнью, равнодушный к моей маленькой трагедии, и это было одновременно и обидно, и утешительно. Обидно — потому что твоя боль кажется тебе центром вселенной, а на самом деле она лишь песчинка в океане. Утешительно — потому что, если мир не рушится, значит, и ты как-нибудь выживешь, как выживают все до тебя, как будут выживать после.

В церкви было холодно, несмотря на зажженные свечи, которые горели неровным, дрожащим пламенем, отбрасывая на стены длинные, уродливые тени, пляшущие, как демоны. Пахло воском, ладаном и мокрой шерстью от моего плаща, который я не успела снять в крошечном притворе. Запах ладана всегда казался мне сладким и немного пугающим — так пахнет вечность, думала я в детстве, так пахнет Бог, который смотрит на тебя с иконы строгими, всезнающими глазами и

видит все твои грехи, даже те, которые ты еще не совершила. Воронов уже ждал у алтаря. Он стоял прямо, как свеча, в черном сюртуке, который сидел на нем идеально, как вторая кожа, с безукоризненно белым воротничком, подпиравшим его тяжелый подбородок. Он не обернулся, когда я вошла, — только едва заметно повернул голову, скосив глаза, и коротко кивнул, оценивая мой наряд, мою фату, мою фигуру, словно принимал товар по описи и сверял с заявленным качеством. Фата скрывала мое лицо, и я была благодарна этой дымке, этому туманному барьеру между мной и миром, за возможность не встречаться с ним взглядом, не видеть этих янтарных глаз, в которых не было ничего, кроме холодного удовлетворения.

Священник, старый и подслеповатый, с дрожащими руками и тихим, надтреснутым голосом, монотонно бубнил молитвы, перелистывая страницы требника пожелтевшими от времени пальцами. Слова скользили мимо моего сознания, не оставляя следа, — церковнославянский, такой красивый и такой непонятный, как музыка, которую слышишь сквозь сон, как шум моря в раковине, приложенной к уху. «Венчается раб Божий Антоний рабе Божией Анастасии...» — эти слова вдруг пробились сквозь туман, ударили в сознание, как колокол. Раба Божия. Я теперь раба. Раба Бога и раба этого человека, который стоит рядом и дышит ровно, размеренно, не волнуясь ни на йоту. В этот момент я почувствовала, как Воронов взял мою ледяную руку в свою. Его ладонь была го-

рячей и неожиданно мягкой, без мозолей, без следов физического труда, — ладонь человека, который никогда не держал ничего тяжелее бильярдного кия, золотого портсигара или бокала с шампанским. Он сжал мои пальцы не сильно, но властно, как сжимают поводья строптивой лошади, давая понять, кто здесь главный, кто держит узду. Я не сжала их в ответ. Моя рука осталась безвольной, восковой, безжизненной — рукой куклы, марионетки, которую дергают за ниточки.

Когда он поднес к моим губам тяжелую, пахнущую металлом чашу с вином — красным, густым, как кровь, — я сделала глоток, и вино показалось мне кислым, как уксус, как прокисшее молоко, как что-то безнадежно испорченное, что невозможно исправить никакой молитвой. Обмен кольцами прошел быстро, деловито, без той торжественной паузы, которую обычно выдерживают молодожены, давая гостям полюбоваться на свои счастливые лица. Его кольцо было массивным, старинным, с выгравированным фамильным гербом — какой-то хищной птицей, терзающей змею, — и сразу повисло на моем тонком пальце тяжелым грузом, холодя кожу даже сквозь перчатку. Мое же простое обручальное колечко, гладкое, золотое, без всяких украшений, он надел ловко и равнодушно, не задержав моей руки в своей ни на секунду дольше, чем требовал ритуал. Свершилось. Прозвучало последнее «Аминь», священник закрыл требник, служба начал гасить свечи, и я стала женой. Госпожой Вороновой. Жен-

щиной без прошлого, без имени, без права голоса.

Домой — теперь это слово означало особняк на Английской набережной, а не старый дом с облупившейся штукатуркой и скрипучей лестницей, — мы возвращались молча. Только теперь он сидел не напротив, как по пути в церковь, а рядом, и его плечо касалось моего плеча, его бедро — моего бедра, его дыхание обдавало мою щеку теплом, от которого хотелось отшатнуться. Я вжималась в угол кареты, стараясь занимать как можно меньше места, стать невидимой, раствориться в черном шелке обивки. Мне казалось, что воздух вокруг него сгущается, становится тяжелым и душным, пропитанным запахом его одеколona и какой-то звериной, с трудом сдерживаемой силой — той силой, которую он прятал под маской респектабельности, но которая сейчас, в темноте кареты, под стук колес и шум дождя, начинала проступать наружу, как проступает хищный оскал сквозь вежливую улыбку. Он молчал, глядя в окно на мокрые фонари, проплывающие мимо, и я была рада этому молчанию. Я боялась того, что он скажет, когда мы останемся наедине в его особняке, за закрытыми дверями, без свидетелей. Мои познания о супружеской жизни были столь же туманны, сколь и пугающи, — смесь из обрывочных фраз подруг, шепота горничных, намеков в книгах и какого-то животного, инстинктивного страха перед тем, что называлось «супружеским долгом». Мать мне ничего не объяснила, отделившись фразой: «Будь покорной мужу, Настя, и все образуется. Мужчины знают, что делать,

твое дело — терпеть и не перечить». И теперь это «терпеть и не перечить» звучало во мне, как приговор, как заклинание, как единственное правило игры, в которую меня втянули без моего согласия.

Особняк Воронова на Английской набережной вырос перед нами внезапно, как утес из тумана, — огромный, темный, величественный в своей мрачности. Он был похож на своего хозяина: красивый той холодной, бездушной красотой, которая вызывает не восхищение, а трепет, не любовь, а уважение, граничащее со страхом. Огромные окна слепоглядели на свинцовую Неву, отражая серое небо и серую воду, и в этих окнах не было ни проблеска жизни — ни цветов на подоконнике, ни легких занавесок, ни теплого света лампы. Это был дом-крепость, дом-сейф, дом-усыпальница, построенный для того, чтобы хранить сокровища и прятать их от чужих глаз. Внутри было тепло, даже жарко — каминны топились, не жалея дров, — но меня бил озноб, тот внутренний холод, который не прогнать никаким огнем. Слуги встретили нас в вестибюле, выстроившись в линию, словно солдаты на плацу, — все в черно-белых ливреях, все с одинаковыми, ничего не выражающими лицами, на которых была написана многолетняя привычка подчиняться. Дворецкий, пожилой мужчина с седыми бакенбардами и выправкой отставного военного, выступил вперед и склонился в поклоне, сгибаясь ровно настолько, насколько требовал этикет, и ни на градус больше:

— Поздравляем, барин. Поздравляем, барыня.

«Барыня». Это слово кольнуло меня в самое сердце, как острая игла, как заноза, которую невозможно вытащить. Я — барыня в этом каменном мешке, полном старинной мебели, тяжелых портьер, молчаливых слуг и невысказанных приказов. Я — хозяйка, у которой нет ни власти, ни свободы, ни права голоса. Я — жена, которая не любит мужа и не любима им. Я — пленница в золотой клетке, и эта клетка только что захлопнулась за моей спиной с тихим, но окончательным щелчком замка. Воронов жестом, одним движением руки, отпустил прислугу, и они исчезли так же бесшумно, как появились, — растворились в тенях коридоров, словно призраки этого дома. Не оборачиваясь ко мне, не глядя, уверенный, что я последую за ним, как собака за хозяином, он бросил через плечо:

— Идите за мной, Анастасия. Я покажу ваши комнаты. Ваши личные покои. Вашу территорию — в пределах, разумеется, допустимого.

Мы поднялись по широкой мраморной лестнице, устланной ковром, поглощавшим звук шагов, — ковер этот, темно-бордовый с золотым орнаментом, стоил, наверное, целое состояние, но я шла по нему, как по тропе на эшафот. На втором этаже он распахнул передо мной двустворчатую дверь красного дерева с бронзовыми ручками в виде львиных голов, и я вошла в свой будуар. Это была комната, о которой любая другая девушка могла бы только мечтать: обои

цвета спелой вишни с атласным отливом, огромная кровать под балдахином из тяжелого лионского шелка, ниспадавшего волнами, как водопад, туалетный столик, уставленный серебряными флаконами и щетками с монограммами «А.В.», которые теперь должны были стать и моими. В углу, отражая пламя свечей в бронзовом канделябре, стояло высокое трюмо в золоченой резной раме — такое высокое, что в нем можно было увидеть себя в полный рост, от рыжей макушки до кончиков атласных туфель. Всё кричало о богатстве, о той самой «богатой жизни», которую он мне обещал, — но крик этот был беззвучным, холодным, музейным. Комната походила не на жилое помещение, а на выставочный зал, на витрину дорогого магазина, где все расставлено для того, чтобы смотреть, а не для того, чтобы жить.

— Надеюсь, вам понравится, — произнес он, остановившись в дверях и не переступая порога, словно даже здесь, в доме, который принадлежал ему, он соблюдал какие-то одному ему ведомые границы. — Это ваше личное пространство. Сюда никто не войдет без вашего позволения... кроме меня, разумеется. Я считаю, что у мужа и жены не должно быть секретов друг от друга — по крайней мере, не в моем доме.

Я стояла посреди этой роскоши, словно муха, попавшая в банку с медом, — красиво, сладко, но не вдохнуть, не пошевелиться, не выбраться. Мне казалось, что даже воздух здесь был другим — густым, спертым, пропитанным запахом

старых денег, полированного дерева и чего-то еще, чего-то неопределимого, но гнетущего.

— Благодарю, — мой голос прозвучал глухо, незнакомо, как будто это не я говорила, а кто-то другой, спрятавшийся внутри меня и взявший на себя труд отвечать, пока я сама была парализована страхом. — Здесь очень красиво. Даже слишком красиво для меня.

Он подошел ближе. Я застыла, вцепившись пальцами в подол свадебного платья с такой силой, что побелели костяшки. Он протянул руку — медленно, неумолимо, как змея, вытягивающаяся перед броском, — и коснулся моих волос. Не ласково, не нежно, не с тем трепетом, с каким мужчина касается любимой женщины. Скорее изучающе, с интересом коллекционера, рассматривающего новый экспонат. Он пропустил тяжелую рыжую прядь сквозь пальцы, поднес ее к свету, рассматривая, как она переливается, искрится, горит в пламени свечей.

— Говорят, рыжие ведьмы — самые сильные, — усмехнулся он, и в его голосе послышалась странная смесь иронии, презрения и какого-то тщательно скрываемого любопытства. — Говорят, они приносят либо великое счастье, либо великие беды. Посмотрим, кем окажетесь вы, Анастасия. Посмотрим, стоила ли моя инвестиция того или я прогадал, польстившись на красивую упаковку.

Я вскинула на него глаза. В полумраке будуара, при колеблющемся свете свечей, его лицо казалось вырезанным из

старого дерева — резкие, глубокие морщины у рта, спускающиеся к подбородку, как трещины на старой картине, тяжёлые веки, прикрывающие холодные глаза, сжатые в тонкую линию губы. Мне захотелось закричать, оттолкнуть его, выбежать вон из этой комнаты, из этого дома, под этот осенний дождь, босиком, в одном подвенечном платье, куда глаза глядят — пусть даже на дно Невы, пусть даже под колеса экипажа. Но я вспомнила лицо матери, её дрожащие руки, её заплаканные глаза. Я вспомнила пустые комнаты старого дома, холодные, с заколоченными окнами. Я вспомнила, что мне некуда бежать, что свобода для таких, как я, — это миф, это сказка для богатых девочек с любящими отцами и хорошим приданым. Я осталась стоять на месте. Я проглотила комок, подкативший к горлу, и заставила себя дышать ровно, спокойно, не показывая страха — потому что показывать страх перед хищником означает лишь расписаться в собственной слабости и пригласить его к прыжку.

Он убрал руку с моих волос — резко, словно обжегся, — и отошел к окну. Широкая спина в черном сюртуке заслонила вид на Неву, на серую воду, на мокрые гранитные набережные. Он стоял и смотрел в окно, заложив руки за спину, и я видела только его силуэт — черный на фоне серого, — и в этом силуэте было что-то невыразимо одинокое, что-то такое, что на секунду почти заставило меня пожалеть его. Почти — но не более того.

— Ужин подадут через час, — произнес он, не оборачива-

ясь. — Я прошу вас переодеться. Что-нибудь более подобающее замужней даме, а не невесте из провинциального романа. Ваша горничная получила указания. Она знает, что вам надеть.

С этими словами он вышел, плотно притворив за собой дверь, и я слышала, как его шаги удаляются по коридору — ровные, тяжелые, размеренные, шаги хозяина жизни. Я осталась одна в плену вишневых стен, шелковых подушек и звенящей тишины, нарушаемой только тиканьем каминных часов и шумом дождя за окном. Я подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу, чувствуя, как оно высасывает из меня остатки тепла, как прохлада растекается по коже, успокаивая, отрезвляя. Дождь все лил, размывая огни фонарей на набережной в длинные, дрожащие, золотистые полосы, похожие на расплавленный металл. Где-то там, за этой водяной завесой, за этой серой пеленой осеннего вечера, осталась моя жизнь. Жизнь, где я была просто Настей, рыжей хохотушкой с веснушками, которая верила, что когда-нибудь встретит человека с теплыми глазами и смешливыми морщинками у губ. Человека, который полюбит её не за фамилию и не за цвет волос, а за то, как она смеется, запрокидывая голову, как она молчит, глядя на звезды, как она читает вслух стихи, путая строчки и смеясь над собственными ошибками. Человека, который возьмет ее за руку, и от этого прикосновения по коже побегут мурашки не страха, а счастья.

Теперь я была госпожой Вороновой. Богатой, молодой и бесконечно несчастной — три этих слова не должны стоять рядом, но они стояли, и это было моей реальностью. Я смотрела на свое отражение в темном стекле — бледное лицо, огромные, полные невыплаканных слез глаза, рыжие волосы, нимбом обрамляющие голову. Я была похожа на святую с иконы и на ведьму из сказки одновременно — на ту, которую либо возносят, либо сжигают, но никогда не оставляют в покое. В этом особняке, среди антикварной мебели, картин старых мастеров и звенящей тишины, я чувствовала себя не женой, не хозяйкой, не барыней, а самой дорогой и самой бесправной вещью в коллекции Воронова — ценной, охраняемой, но абсолютно бессильной. И первая ночь моего замужества только приближалась, надвигалась, как гроза, как черная туча, суля не любовь, не нежность, не трепет, а лишь холодный расчет человека, купившего меня, словно породистую кобылу на ярмарке, и ожидающего от своей покупки отдачи. За окном шумел ветер с Невы, дождь стучал в стекло, и мне казалось, что это сама осень плачет вместе со мной, оплакивая мою утраченную волю, мою загубленную юность, мою жизнь, которая, не успев начаться, уже закончилась — во всяком случае, та ее часть, где было место для надежды.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.